

Сборник статей
к 60-летию В.Э.Вацура

Марк Альтшуллер

ПУШКИН, БУЛГАРИН, НИКОЛАЙ I И СЭР ВАЛЬТЕР СКОТТ

В конце 1829 года (цензурное разрешение — 13 октября) появился исторический роман Фаддея Венедиктовича Булгарина «Димитрий Самозванец». Это был один из самых первых русских исторических романов. (Несколькими месяцами раньше вышел «Юрий Милославский» М. Загоскина.) Его автор, талантливый и энергичный Фаддей Булгарин, сумел в то же время снискать себе и у современников, и у историков литературы весьма скандальную репутацию, во многом заслуженную. Его обвиняли в пасквилях и доносах, в моральной нечистоплотности, в постоянных связях с III отделением, т.е. тайной полицией, чьим информатором он являлся много лет¹.

Булгарин, очень чувствительный и к материальному успеху и к писательской славе, превосходно чувствовал конъюнктуру рынка. Только что закончив нравоописательный приключенческий роман «Иван Иванович Выжигин», имевший шумный читательский успех, он принимается за исторический роман, подогреваемый слухами о работе Загоскина над «Юрием Милославским». Громадный роман Булгарина был написан едва ли не за три месяца (8, 258). Он имел очень большой по тому времени тираж (около двух тысяч экземпляров²) и уже в 1830 году потребовалось второе издание.

Было, однако, одно обстоятельство, придававшее, по крайней мере для посвященных, скандальный привкус вновь появившемуся роману. Двусмысленная ситуация заключалась в том, что еще в 1825 году Пушкин написал на ту же самую тему (о приходе Дмитрия Самозванца к власти) трагедию «Борис Годунов». И сам Пушкин и его ближайшее окружение усмотрели в романе Булгарина ряд заимствований из еще не напечатанной трагедии. (Она была разрешена царем к публикации только в 1830 году и вышла из печати в 1831 г.)

В принципе ничего удивительного не было в том, что вместе и вслед за Загоскиным Булгарин обратился к эпохе «смутного времени», одной из наиболее драматических и кровавых эпох в истории России. Однако 18 апреля 1830 г. Булгарин счел нужным обратиться к Пушкину с письмом:

«Милостивый государь

Александр Сергеевич!

С величайшим удивлением услышал я от Олина, будто Вы говорите,

что я *ограничил* вашу трагедию *Борис Годунов*, переложил *ваши стихи* в прозу, и взял из *вашей трагедии* сцены для моего романа! Александр Сергеевич! Поберегите свою славу! Можно ли взводить на меня такие небывалые? Я не читал вашей трагедии (в этом частью уверяю. Мне рассказали содержание, и я, признаюсь, не согласился во многом. Представлю тех, кто мне рассказывал), кроме отрывков печатных, а слышал только о ее составе от читавших и от вас. В главном, в характере и в действии, сколько могу судить по слышанному у нас совершенная *противоположность*. ...Неужели обрабатывая один (т.е. по имени только предмет), надобно непременно красть у другого? У кого я что выкрал? Как я мог красть по наслышке?» (16, т. 14, 67)

Слова Булгарина, кажется, не лишены справедливости. В самом деле, трудно упрекать писателя за выбор им даже не той же темы, а той же исторической эпохи для своего произведения. Вопрос о текстуальных заимствованиях также весьма не прост. Дело в том, что для обоих авторов (Булгарин не упоминает об этом в своем письме) основным историческим источником их художественных текстов была «История государства Российского» Н. М. Карамзина. Поэтому текстуальные совпадения (а исследователи насчитали их около двухсот — 8, 261) тоже в принципе ничего не доказывают.

В одном очень важном пункте своего письма Булгарин, однако же, солгал. «Бориса Годунова» он *читал*, и даже очень внимательно. Недаром он несколько раз возвращается в коротком письме к этому вопросу: «не читал», «слышал только», «по наслышке».

В конце декабря 1826 года Пушкин в ответ на запрос Бенкендорфа должен был представить Николаю I рукопись своей трагедии. Царь читать ее не стал, а повелел из нее «сделать выдержку кому-нибудь верному» (15, 412). Так появились хорошо известные в пушкиноведении «Замечания на Комедию о царе Борисе и Гришке Отрепьеве»³. По аргументированному мнению большинства исследователей, автором «Замечаний» был Булгарин⁴. Он внимательно прочел трагедию Пушкина, и вполне вероятно, что она послужила для него толчком к созданию его собственного исторического романа. Тем более что сам он очень интересовался исторической беллетристикой, писал исторические повести и еще в 1823 г. читал на заседании «Вольного общества любителей российской словесности» отрывок из своей работы «Марина Мнишек, супруга Димитрия Самозванца»⁵, напечатанной полностью в «Сочинениях Фаддея Булгарина» в 1827 году, задолго до появления «Димитрия Самозванца» и публикации «Бориса Годунова».

К чести Булгарина нужно сказать, что он вовсе не пытался «зарезать» пушкинскую трагедию. Общий вывод рецензента был таков: «За сими исключениями и поправками <а их предлагается весьма немного. — М. А.>, кажется, нет никакого препятствия к напечатанию пьесы» (15, 414).

В то же время Булгарин обращает внимание на связь трагедии с традициями Вальтера Скотта. Это естественно, т.к. в сознании читателя

начала XIX века любое художественное произведение на историческую тему прежде всего вызывало ассоциации с творчеством английского романиста. Когда Булгарин пишет, что «цель пьесы — показать исторические события в естественном виде, в нравах своего века» (15, 413), то он употребляет формулировку, вполне приложимую к любому роману Скотта. Хорошо известный политический консерватизм Скотта перекликается с определением политической позиции Пушкина как автора «Годунова»: «Дух целого сочинения монархический, ибо нигде не введены мечты о свободе, как в других сочинениях сего автора...» (15, 413). Наконец, Булгарин обращает внимание на известную особенность романов Скотта: обилие в них драматического элемента, многостраничные диалоги персонажей — и соотносит ее с разбираемой трагедией: «У Пушкина это разговоры, припоминающие <т.е. напоминающие. — М. А.> разговоры Валтера Скотта. Кажется, будто это состав листов из романа Валтера Скотта!» (15, 414)

Представляется странным, что специально отмечаются «разговоры», из которых только и может состоять драматическое произведение и которое, естественно, и не содержит ничего, кроме «разговоров». Очевидно, в «разговорах», т.е. в языке пушкинских персонажей рецензент увидел характерную для Скотта «естественность истории».

В литературном отношении Булгарин оценил трагедию очень не высоко: «Литературное достоинство гораздо ниже, нежели мы ожидали» (15, 413).

По-видимому, Николай I обратил особое внимание на сопоставление трагедии с романами Скотта. Он был большим поклонником английского романиста. Они были даже лично знакомы. В конце 1816 — начале 1817 годов Великий князь Николай провел четыре месяца в Англии (28, 78—91; 1, 266—267). В середине декабря он посетил Эдинбург. 19 декабря (а не 16, как говорит М. П. Алексеев) состоялся торжественный обед, данный Эдинбургским мэром Вильямом Арбутнотом (William Arbuthnot) Великому князю. После обеда были пропеты стихи, сочиненные Вальтером Скоттом в честь высокого гостя.

Стихи начинаются с прославления Александра I («God protect brave Alexander»), с которым Скотт тоже был знаком: в 1815 году Скотт был в Париже, где находился тогда английский посол в России лорд Каткерт (Cathcart). Посол пригласил Скотта на торжественный обед, на котором представил романиста русскому царю (25, 500).

Вторая и последняя строфа стихотворения посвящена Николаю:

Hail! then, hail! illustrious Stranger!
 Welcome to our mountain strand;
 Mutual interests, hopes, and danger
 Link us with thy native land.
 Freeman's force, or false beguiling,
 Shall that union ne'er divide,
 Hand in hand while peace in smiling,
 And in battle side by side⁶.

Вернувшись домой, Николай проводил вечера с молодой женой за чтением Вальтера Скотта. В его библиотеке находилась хорошая подборка романов Скотта, и супруга императора давала их читать своим фрейлинам (12, 10).

Николай не был большим любителем художественной литературы. Он постоянно путал Гоголя с В. Соллогубом и никак не мог собраться прочесть «Мертвые души» (21, 375—376, 438). Читать пьесу Пушкина ему было скучно и тяжело. Тем более что рукопись была грязная, с поправками — другой у Пушкина, когда он получил запрос Бенкендорфа, не было. Узнав, что драматический текст чем-то похож на знакомые ему и привлекательные романы, император почитательски простодушно захотел увидеть русский исторический роман скоттовского типа, которого в России в 1827 году еще не было. Он начертил на первом листе «Замечаний» известную резолюцию: «Я считаю, что цель г.Пушкина была бы выполнена если б с *нужным очищением* переделал комедию⁷ свою в историческую повесть или роман на подобие *Вальтер Скотта*» (15, 415).

Фактически это было запрещение печатать трагедию. Приговор царя оказался более суровым, чем мнение не только Булгарина, но и Бенкендорфа, написавшего Николаю: «...с немногими изменениями ее <пьесу. — М. А.> можно напечатать...» (15, 415)

Пушкин отказался от царского предложения («...я не в силах переделать однажды мною написанное» (15, 415)). Зато за выполнение поставленной царем задачи взялся Булгарин и написал свой роман, разумеется, вполне в «монархическом духе». В этом романе он последовательно осуществил все отмеченные в «Замечаниях» «вальтерскоттовские» принципы и приемы.

Прежде всего следует отметить обилие диалогов, которые, особенно в 4-й части, превращаются в многостраничные почти самостоятельные драматические сцены, чего не встречается у Скотта. Булгарин считал это важной особенностью своего романа, он писал, что «дал новые формы... Русскому Историческому Роману, соединив драматическое действие с рассказами и вводными повествованиями» (5, ч. I, XXVII). Как и Скотт, Булгарин стремится к историческому правдоподобию, изображению «естественного вида исторических событий».

Свои взгляды на исторический роман Булгарин изложил в предисловии к первому изданию. Несомненно, в его сознании как некий образец и основная точка отсчета присутствовала структура романов Скотта.

Прежде всего Булгарин ставит вопрос об историческом правдоподобию своего романа. После Скотта обязательным для исторической беллетристики стало правдивое, с большими или меньшими допусками, изображение событий, как они были описаны в исторических сочинениях и исторических источниках. «Завязка его <романа. — М. А.>, — пишет Булгарин, — История. Все современные гласные происшествия изображены мною верно, и я позволял себе вводить вымыслы там только, где история молчит или представляет одни сомнения. <...> Вымыслами я только

связал истинные исторические события и раскрыл тайны недоступные историкам» (5, ч. I, VII—III).

Булгарин здесь очень глубоко и точно формулирует сущность художественного открытия, сделанного Скоттом: связь между научным фактом и художественным воображением, синтезированную в историческом романе. (Ту же мысль впоследствии развил Ю. Тынянов в своем известном несколько парадоксальном замечании: «Там, где кончается документ, я начинаю». — «Как мы пишем».)

На деле изучение истории было у Булгарина не очень тщательным (далеко не таким, как у Н. Полевого, И. Лажечникова, Пушкина в «Капитанской дочке»). Основным источником, как и большинству русских исторических писателей начала XIX века, служил ему Карамзин. Читал Булгарин и польских историков, о которых он упоминает в примечаниях, и опубликованные к тому времени сообщения иностранцев о событиях «смутного времени». В частности, важным источником для него, как и для Пушкина, были записки капитана Маржерета. Важна, однако, была не тщательность исторических изучений, важен был принцип: история лежит в основе художественного повествования. Булгарин тщательно соблюдал этот принцип и снабдил, по примеру Скотта, свой роман обильными историческими примечаниями и ссылками на источники.

Следующая важная проблема, о которой говорит Булгарин в предисловии, — это характеры героев его романа. Здесь перед Булгариным возникли сложные задачи, ибо он далеко отошел от типовой композиции романов Скотта, у которого передний план всегда занимают вымышленные персонажи, и проблема исторического правдоподобия для наиболее активно действующих героев, таким образом, не возникает. В «Димитрии Самозванце» все основные (в отличие от Скотта) и многие второстепенные персонажи — исторические личности. Булгарин настаивает на том, что их изображение в романе соответствует исторической правде: «Все исторические лица <а их, как мы говорили, большинство в романе. — М. А.> старался я изобразить точно в таком виде, как их представляет история. Роман мой можно уподобить окну, в которое современник смотрит на Россию и Польшу при начале XVII-го века: многие исторические лица видны через сие окно, но описаны они столько, сколько глаз историка мог их видеть, и по мере участия их в происшествии» (5, ч. I, IX).

Булгарин, таким образом, поставил перед собой весьма сложную художественную задачу, которую, однако же, выполнить не сумел. Это относится прежде всего к протагонисту романа — Дмитрию Самозванцу. Булгарин считает его лицом неизвестным и, цитируя Митрополита Платона, пишет: «...сей первый самозванец не был и Гришка Отрепьев, дворянина Галицкого сын, но некто подставной, от некоторых злодеев выдуманый и подставленный, чужестранный или россиянин...» (5, ч. I, V)

В отношении личности Самозванца Булгарин и митрополит Платон

предвосхищают взгляды позднейших историков (Платонов, Ключевский), считавших личность Самозванца не установленной⁸. Однако это не существенно для художественного изображения Димитрия. А здесь-то и постигла Булгарина неудача. Его Самозванец несколько не похож на героев Скотта, молодых и наивных, нащупывающих свой жизненный путь в сложной, конфликтной обстановке конфронтации, борьбы разных политических сил.

Димитрий появляется на первой странице романа под именем Иванницкого, и действие начинает стремительно и занимательно развиваться. Иванницкий то переводчик в польском посольстве, то монах, то простолюдин. Читатель (и это соответствует концепции Булгарина) не знает, кто он по происхождению, и так и не узнает этого до конца романа. Внешне положение Самозванца похоже на положение героев Скотта. Он также находится между двумя лагерями, русскими и поляками. Однако сходство здесь мнимое. Герой Булгарина не ищет своего места между ними, а использует их оба и даже третий лагерь (запорожских казаков) в своих эгоистических, честолюбивых целях.

Отказавшись от уроков Скотта или не сумев ими воспользоваться, Булгарин сделал своего Самозванца романтическим героем байроновского типа, и романтические штампы преобладают в его изображении. Следовать байроническому образцу было легче, чем более сложному, привязанному ко времени и среде герою скоттовских романов. Тем более что метод Байрона после гениальных пушкинских опытов был уже прочно усвоен русской литературой, а образцов вальтерскоттовского романа в России еще не было.

Необузданные страсти кипят в душе Лжедимитрия, он противоречив и борется сам с собою, как и подobaет романтическому байроническому герою, но отнюдь не вальтерскоттовскому Веверли или Мортону: «Душа твоя пламень, тело закаленная сталь, а ум твой сколь ни высок, еще не укрепился до того, чтоб обуздывать страсти. Душа твоя не может оставаться в покое: без впечатлений она потухнет, как огонь без вещества. Две сильнейшие страсти, требующие всех сил жизни, любовь и честолюбие, имеют на тебя самое сильное влияние» (5, ч. II, 159). Такими готовыми и маловыразительными клише характеризует Самозванца один из персонажей романа.

Действительно, любовь является неперменным атрибутом романтического героя. У Скотта обычно любовные перипетии организуют сюжет его романов. Булгарин совершенно справедливо и очень умно писал в предисловии к «Димитрию Самозванцу»: «...я не ввел в роман любви, такой, как изображают ее иностранные романисты, почерпая предметы из истории средних веков. Введением любви в русский роман XVII-го века разрушается вся основа правдоподобности! Русские того времени не знали любви, по нынешним об ней понятиям, не знали отвлеченных нежностей, женились и любили, как нынешние азиатцы» (5, ч. I, XXIII).

В 1831 г., во время ожесточенной полемики с Пушкиным, Булгарин

посмеялся над «богомольным русским царем 17 столетия», который у Пушкина говорил:

Не так ли
Мы с молоду влюбляемся и алчем
Утех любви, но только утолим
Сердечный глад мгновенным обладаньем,
Уж охладев скучаем и томимся?..

По поводу этих строк знаменитого монолога Булгарин справедливо и остроумно заметил: «В устах какого-нибудь рыцаря Тогенбурга эти слова имеют силу и значение: но в устах Русского Царя, Бориса Годунова, это анахронизм! В 17 веке, после царствования благочестивого Федора Иоановича, в обществах, из коих исключен был женский пол, не знали и едва ли помышляли о мгновенных обладаниях!» (22, 179)

Булгарин был прав. (Чуть позднее Белинский хвалил Полевого за то, что в его историческом романе «Клятва при Гробе Господнем» любовь не играет существенной роли: «...одно уже то, что любовь играет не главную, а побочную роль, достаточно показывает, что г.Полевой вернее всех наших романистов понял поэзию русской жизни» (3^а, 155).) Однако своего Самозванца он наделил зловещими и сильными любовными страстями. Впрочем, тут у него было оправдание, т.к., с точки зрения Булгарина, Самозванец или не русский вовсе, или получил заграничное, польское, воспитание.

Давно было замечено, что протагонисты вальтерскоттовских романов в своих сердечных привязанностях часто колеблются между двумя красавицами: темпераментной брюнеткой и кроткой блондинкой. На последней герой обычно женится. (Таковы романы «Веверли», «Пират». Сходную ситуацию мы видим в «Айвенго» (см. 27).)

Хотя Самозванец тоже влюблен в двух женщин, но байронический герой Булгарина знает только крайности: бездны и небеса, ад и рай, добро и зло. При этом душа его, безусловно, тяготеет ко злу. Сначала Димитрий влюбляется в Ксению Годунову. Она носитель благого, божественного начала: «Она явилась очам моим, как чистая голубица, в сиянии ангельской красоты и непорочности. Я думал, что все блаженство в черных ее очах, на нежных ее устах, на белоснежной груди. Голос ее трогал сердце мое, как струны сладкозвучной арфы, взоры разливали какую-то томность в душе моей» (5, ч. II, 158).

На смену непорочности приходит сладострастие, ангела сменяет дьявол: «Увидев Калерию, я ощутил новую жизнь. Взоры ее зажгли кровь мою, голос потряс весь бранный мой состав и проник в душу. <...> я с ума сойду от любви к Калерии!» (5, ч. II, 158—159)

Впрочем, романтический злодей Димитрий губит обеих возлюбленных. И Ксению, которую, захватив престол, он сделал или пытался (у Булгарина) сделать своей любовницей, и Калерию, которую он пытался утопить вместе с еще не родившимся младенцем. Зловещая мстительница, в полном соответствии с романтическими канонами, преследует его, стано-

вится главной причиной его гибели и как символ возмездия возникает на последних страницах романа. «Гнусный обольститель, изверг, чадоубийца! — Воскликает Калерия. — и ты думал избегнуть казни небесной, забыть свое ужасное преступление и наслаждаться плодами своего злодейства? <...> видишь ли эту полную луну: она была безмолвным свидетельницею твоей адской злобы, в ту ужасную ночь, когда ты, подобно Иуде и Каину, изменил клятве и погубил кровь свою... Эта кровь будет по капле падать на твое каменное сердце, источит его, прольется ядом по твоим жилам... Убийца <...> Душегубец!» (5, ч. III, 46—47) В этой безвкусной перенапряженности романтических страстей ничего уже не осталось от традиционного противопоставления двух красавиц в романах Скотта. Его воспитанные героини никогда не позволяют себе таких патетических тирад.

Байронический романтический герой Булгарина, в отличие от скоттовского, всегда одинок, зол, конфликтует с окружающим миром, который тоже враждебен герою. Вот как, например, характеризует себя Иваницкий, то бишь Лжедмитрий, в самом начале романа: «Я, как некий дух без образа, ношусь над бездною, и еще суд Божий не произнес гласно, должно ли мне погибнуть или вознестись превыше земного. Еще не решено — что меня ожидает: проклятия или благословения, поношение или слава!» Иваницкий подошел к окну, лицо его пылало, на глазах навернулись слезы» (5, ч. I, 19).

Таково же ближайшее окружение Самозванца. Когда друг Иваницкого Маховецкий объясняет свой уход к запорожцам, в его речи явно звучат, правда, сниженные и примитивизированные, мотивы пушкинского Алеко: «Пришел я сюда единственно из скуки, отчасти из любопытства, и бежал от бездействия. Мне наскучило гоняться за зайцами в моих поместьях; нега городов не имеет для меня прелести <ср. у Пушкина: «неволядушных городов». — М. А.>; в войске королевском не хочу служить: мне несносна строгая подчиненность...» (5, ч. II, 289)

Постигла Булгарина неудача и с изображением другого исторического героя и важнейшего персонажа романа — Бориса Годунова. Когда Скотт отодвигал своих исторических персонажей на периферию повествования, он, держа их в полутени, имел возможность более свободно по своему усмотрению изображать их характеры, не подвергаясь упрекам в несоблюдении исторической достоверности. Впрочем, могучее воображение Скотта создавало такие живые и яркие образы Марии Стюарт, Ричарда Львиное Сердце, Людовика XI и мн. др., что эти скоттовские персонажи сами становились для современников и потомков готовой моделью их представлений об историческом деятеле.

Умный Булгарин не обладал художественным талантом. У него было свое собственное представление о царе Борисе, расхвалившееся с тем образом, который был создан Карамзиным и который художественно был воплощен Пушкиным в его трагедии. Этому представлению он и следовал: «...привыкли изображать Бориса Годунова героем. Он был умен, хитер, про-

нырлив, но не имел твердости душевной и мужества воинского и гражданского. Рассмотрите дела его! Величался в счастье, не смел даже явно казнить тех, которых почитал своими врагами, и в первую бурю упал! Где же геройство?» (5, ч. I, X)

Так вместо мудрого и трагичного государя на страницах романа появился робкий, скрытный и жестокий интриган, вторая, но более мелкая ипостась Самозванца, такой же, как и он, узурпатор престола. И если Самозванец был изображен как жестокий, но не лишенный романтического величия злодей и авантюрист, то Годунов у Булгарина стал просто заурядным и бледно написанным честолюбцем. Современная критика справедливо отметила эту неудачу: «Характер Бориса совершенно изуродован: Царь выставлен везде человеком безнравственным, лицемером, злодеем и жестоким тираном. Автор вооружается на него совсем несправедливо» (28, 187). Рядом с талантливым историческим портретом Карамзина и известным уже многим, хотя и не напечатанным, пушкинским Годуновым герой Булгарина, несомненно, проигрывал.

В романах Скотта обычно очень тщательно описаны быт и нравы народа, среди которого происходит действие. Особенно относится это к родной для Скотта Шотландии. Стремление к этнографической точности стало после Скотта обязательным для исторического романиста. «Описывая действия, — говорит Булгарин, — я не мог пренебречь местностями и представил образ жизни действовавших лиц, их нравы, обычаи, степень просвещения, одежду, вооружение, пиры...» (5, ч. I, X) И действительно, Булгарин очень хорошо обрисовал публичную и частную жизнь русских XVII столетия. В таких описаниях он был гораздо сильнее, чем в воссоздании человеческих характеров.

Так, он тщательно изображает убранство боярского дома или ведет нас в «кружало», кабак на Балчуге, где и теперь помещается известный ресторан. Живо, броско, выразительно описывает Булгарин половых, разносящих простонародную еду и напитки: гречневика, пироги, калачи, сайки, паюсную икру, печеные яйца, хлебное вино, меды и пенное полпиво (5, ч. I, 185—186). С мастерством и знанием дела рассказывает он о богатых нарядах польской шляхты, а яркий рассказ о нравах Запорожской сечи предваряет соответствующие сцены в «Тарасе Бульбе» и т.д. и т.п. Количество примеров можно бы было легко умножить.

К скоттовскому влиянию могут быть отнесены также фольклорные, точнее, стилизованные под фольклор песни, которые Булгарин обильно вставляет в текст повествования. У Скотта они встречаются очень часто почти во всех его романах («Аббат», «Ламермурская невеста», «Ричард Львиное Сердце» и мн. др.). Это обычно баллады, отрывки из песен, большинство из них сочинены или обработаны самим Скоттом. Русские авторы вслед за Скоттом любили украшать историческое повествование подобными вставками. (Таковы, например, псевдофольклорные песни разных народов в повести В. Кюхельбекера «Адо».)

Такова и псевдонародная песня в «Димитрии Самозванце», несомненно, сочиненная самим Булгариным:

Ах, послушайте, добры молодцы!
Зарядите вы ружья меткие...
Кому жизнь мила, не кидай села,
А кто любит бой, тот ступай за мной!

(5, ч. II, 111)

Песня эта исполняется в разбойничьем лагере атамана Хлопка, куда попал Самозванец со своими спутниками. Весь этот эпизод, видимо, навеян сценами из «Айвенго», в которых Ричард Львиное Сердце распевает с разбойничьим монахом Туком застольные народные песни, а потом попадает в стан знаменитого разбойника Робин Гуда.

Мы уже говорили, что, возможно, первым толчком к замыслу романа о Самозванце послужила Булгарину рукопись пушкинского «Бориса Годунова», которую он, по всей вероятности, внимательно читал. Работая над романом, он, конечно, испытывал могучее влияние пушкинского творчества (отсюда, кстати, может быть и бессознательные или полусознательные заимствования) и, по мере сил, пытался бороться с ним.

Так, в предисловии Булгарин пишет: «У меня в романе Лжедмитрий не открывается никому в том, что он обманщик и самозванец. Его уличают другие. Иначе и быть не могло, по натуре вещей, судя психологически. Если бы он объявил кому-нибудь истину, то не нашел бы ни одного приверженца» (5, ч. I, XX). Несомненно, Булгарин здесь имеет в виду знаменитую сцену у фонтана в пушкинской трагедии, когда Самозванец в пылу страсти открывает свой тайну Марине. Булгарин противопоставляет психологически неправдоподобной пушкинской сцене свой роман и не расходится при этом с большинством современных критиков, которые тоже осуждали драматическую и психологическую несообразность этой сцены (7, 211).

Существеннейшей проблемой, вызывавшей острые споры, был язык художественного произведения, посвященного исторической теме⁹. Пушкин придерживался в этом вопросе последовательно романтической точки зрения. «Местный колорит» (в том числе «исторический колорит») должен выражаться безыскусственным, резким, пусть тяжелым и непонятным, пускай даже малоприветливым, языком действующих лиц. Еще в 1823 г. Пушкин писал Вяземскому: «...я желал бы оставить русскому языку некоторую библейскую похабность <...> Грубость и простота более ему пристали» (14, т. 1, 170). О «Борисе Годунове» он говорил: «...в моем «Борисе» бранятся по-матерну на всех языках. Это трагедия не для прекрасного полу» (14, т. 2, 111).

В «Замечаниях» Булгарин специально отметил грубые и непристойные выражения пушкинской трагедии: «Некоторые места должно непременно исключить. <...> человек с малейшим вкусом и тактом не осмелился бы никогда представить публике выражения, которые нельзя произнести ни в одном благопристойном трактире!» (15, 413)

Сам Булгарин для своего исторического романа избрал иной путь. В «Предисловии» к роману он, очевидно, полемизируя с принципами пуш-

кинского просторечия, писал: «<...> я не хотел передать читателю всей грубости простонародного наречия, ибо почитал это неприличным и даже незанимательным. <...> грубая брань и жесткие выражения русского (и всякого) простого народа кажутся мне неприличными в книге <...> речи, введенные в книгу из питейных домов не составляют верного изображения народа» (5, ч. I, XV—XVII). Булгарин стремится к созданию некоего среднего стиля, сохраняющего аромат эпохи и этнографии, но лишенного грубой лексики и тяжелого синтаксиса, затрудняющих восприятие текста: «Просторечие старался я заменить *простомыслием* <курсив Булгарина. — М. А.> и низким тоном речи, а не грубыми поговорками» (5, ч. I, XVI). (Возможно, это намек на прибаутки монахов в сцене «Корчма на Литовской границе».)

Взгляды Булгарина были ближе к Вальтеру Скотту, чем пушкинские. Свою точку зрения на язык исторического романа Скотт изложил в предисловии к «Айвенго». Он считает ошибкой злоупотребление старой лексикой и устаревшими грамматическими формами. В то же время, говорит он, нельзя и вводить в исторический роман обороты новейшего происхождения, чтобы не наделять «предков речью и чувствами, свойственными исключительно их потомкам» (18^a, т. 8, 26—27, 29).

Хотя у Булгарина речь идет о вульгаризмах, а у Скотта об архаизмах, но сущность размышлений у них одна: язык исторического романа должен стремиться к некоему среднему стилю, избегая крайностей. Вполне вероятно, что рассуждения Булгарина восходят к Скотту. Характерно, что оба автора для разъяснения своих положений прибегают к примерам из изобразительного искусства. Скотт говорит об «антикварных деталях» в пейзажной живописи (18^a, т. 8, 28), Булгарин — о картинах фламандской школы (5, ч. I, XVI—XVII). Но думал он, конечно, больше всего о трагедии Пушкина и с этой ненапечатанной трагедией полемизировал.

Булгарину удалось достичь поставленной цели: роман написан гладко, читается легко, даже современный читатель не ощущает устарелости языка. Современная автору критика отметила это достоинство романа. Так, дружески расположенный к Булгарину Василий Ушаков высоко оценил слог «Димитрия Самозванца». В языке романа, с его точки зрения, нет «шероховатых фраз и неправильных конструкций», автор не употребляет «языка веков протекших», но «по возможности говорит читателям языком приличным избранной им эпохе» (23, 226, 233).

В пушкинском кругу намеки Булгарина были поняты. Рецензируя «Димитрия Самозванца» в «Литературной газете» (1830, № 14), Дельвиг отметил: «Язык в романе «Димитрий Самозванец» чист и почти везде правилен...» Однако для Пушкина и его друзей это свидетельствовало лишь об отсутствии творческой индивидуальности, о полном отсутствии писательского дарования: «но в произведении сем, — продолжал Дельвиг, — нет слога, этой характеристики писателей, умеющих каждый предмет, перемыслив и перечувствовав, присвоить себе и при изложении запечатлеть его особенностью таланта» (11, 220).

Еще более важной и еще менее приемлемой была для Булгарина основная идеологическая концепция пушкинской трагедии. «Борис Годунов», с историософской точки зрения, одно из самых пессимистических произведений Пушкина. В основе его постоянное противопоставление власти и народа. Булгарин был прав, когда писал в «Записке», что «дух целого сочинения <т.е. пушкинской трагедии. — М. А.> монархической». В пору работы над «Годуновым» Пушкин, вслед за Карамзиным, считал монархию естественной, единственно приемлемой для России формой правления. Проблема заключалась в отношении народа к царю¹⁰. Здесь, с точки зрения Пушкина, и крылась трагедия. Борис был добрый, умный и хороший царь. Однако народ не приемлет никакой власти. Он склонен к разрушению, бунту, анархии. Поэтому народ ненавидит Бориса и поддерживает другого царя. Сам Борис это хорошо понимает:

Народ всегда к смятенью тайно склонен...

Бывают моменты, когда анархия побеждает. Таким было «смутное время», приближение которого все время ощущается в трагедии (читатель очень хорошо знает, что последует за воцарением Самозванца). Эти моменты истории угрожают полной гибелью всему народу, который, вставая против власти, бессознательно к этой гибели стремится. (Так в творчестве Пушкина подготавливается знаменитая формула «Капитанской дочки»: «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!»)

Свергая одного царя, народ тут же готов вступить в конфликт со следующим. Поэтому в сущности неважно, завершает ли трагедию авторская ремарка:

Народ безмолвствует

или (как было в белой рукописи) крик народа:

Да здравствует царь Димитрий Иванович!¹¹

Обе концовки в сущности одинаковы: обе предрекают новый бунт, новую анархию и всеобщую гибель. Получается дурная бесконечность: воцарение при одобрении народа — восстание — гибель царя — новое воцарение — одобрение народа — гибель... Из этой бесконечности нет и не может быть выхода.

Булгарин использовал пушкинскую концепцию, но упростил и примитивизировал ее. В основу его романа положена мысль о сходстве между обоими протагонистами. Они равны в том, что оба являются узурпаторами престола. Оба не царской крови. (Для Пушкина эта проблема никакой роли не играла!) Отсюда меняются все акценты при обращении к теме народа. Народ у Булгарина не «к смятенью тайно склонен», как у Пушкина, а искренне привязан к царю, но только при условии, что в жилах государя течет потомственная царская кровь.

Борис у Булгарина, как у Пушкина, жалуется на непостоянство, переменчивость народа: «Это стадо, которое ревет радостно на тучной

пажити, но не защитит пастыря от волков. Знаю я народ! Божество его — сила! В чьих руках милость и кара, тот и прав перед народом. Сегодня он славит Царя Бориса, а пускай завтра мятежный боярин возложит венец на главу свою, и заключит Бориса в оковы, — народ станет поклоняться сильному и забудет о слабом» (5, ч. I, 235). Конечно, все это гораздо примитивнее, чем та фатальная вражда народа к царю, о которой говорит Пушкин, но в речах пушкинского Бориса мы слышим сходные жалобы:

Живая власть для черни ненавистна.
Они любить умеют только мертвых —
Безумны мы, когда народный плеск
Иль ярый вопль тревожит сердце наше!

К ним примыкает и обмен репликами между Басмановым и Борисом:

Всегда народ к смятенью тайно склонен <...>
Конь иногда сбивает седока <...>
Лишь строгостью мы можем неусыпной
Сдержатъ народ <...>
<...> милости не чувствует народ:
Твори добро — не скажет он спасибо;
Грабь и казни — тебе не будет хуже.

Если у Пушкина противостояние царь—народ заложено в самой природе власти, то, с точки зрения Булгарина, речь идет о частном случае: незаконном захвате власти узурпаторами. И только поэтому народ восстает на царя: «Так было во все времена, у всех народов <...> где на престоле не было царской крови» (5, ч. I, 235).

И у Пушкина, и у Булгарина Самозванец рассуждает о характере русского народа: как он может воспринять переход к католицизму. Пушкинский Самозванец говорит о пассивности и терпимости народа (что, с точки зрения Пушкина, справедливо, пока не начинается бунт):

Я знаю дух народа моего;
В нем набожность не знает исступленья:
Ему священ пример царя его.
Всегда, к тому ж, терпимость равнодушна.

У Булгарина Самозванец основывает свою силу на том, что в его жилах, в отличие от Бориса, течет кровь царей: «Вы не знаете русского народа, почтенные отцы, если сомневаетесь в успехе моего дела. Привязанность к царской крови сильнее в нем всех других душевных ощущений...» (5, ч. III, 33)

Чья же царская кровь, если прямые потомки Рюрика вымерли, а престол последовательно захватывается двумя узурпаторами, может привлечь к себе любовь и доверие народа? Это Романовы, по родству своему с царствующим домом претендовавшие на престол после смерти Федора, и потомки которых царствуют ныне.

Трагическая пушкинская коллизия разрешается у Булгарина в перспективе его романа избранием истинного, по крови, царя, что дает ему воз-

возможность рассыпать безвкусные панегирики царствующему дому на страницах своего сочинения. Так, даже с точки зрения Годунова, «Романовы, по родству своему с иссякшим родом Рюриковым, более всех думают иметь права к венцу царскому» (5, ч. II, 10). Вместо трагического пушкинского финала роман Булгарина заканчивается восхвалением царствующей династии — истинной спасительницы отечества: «Россия до тех пор не будет великою и счастливою, пока не будет иметь Царя из законного царского рода. Господи, сохрани Святое племя!.. Этому племени принадлежит Россия, им только она успокоится и возвеличится! Боже храни Романовых для блага Церкви и отечества!» (5, ч. IV, 504—505)

Булгарин получил перстень за верноподданнический дух своего произведения. Возможно, это произошло в результате ходатайства Бенкендорфа, который писал царю: «Если бы Ваше Величество прочли это сочинение <т.е. «Димитрия Самозванца». — М. А.>, то вы нашли бы в нем много очень интересного и в особенности монархического, а также победу лигитимизма. Я бы желал, чтобы авторы, нападающие на это сочинение, писали в том же духе...» (13, 499) Самому же царю роман не понравился (8, 272). Николая, видимо, покорила безвкусная лесть Булгарина.

Пушкин же был разъярен. Полемика с еще не напечатанным «Борисом Годуновым», напрямую содержащаяся во вступлении к роману и явственно ощущаемая в его тексте, побуждала его несколько раз братья за перо. Он видел искажение своих идей в романе Булгарина, прямое подражание и явные, хотя и трудно доказуемые заимствования.

Нас, однако, не интересует сейчас анализ ожесточеннейшей полемики между Пушкиным и Булгариным, которая достаточно хорошо, по крайней мере с фактической стороны, изучена в пушкинской литературе, хотя обычно не учитывается, что обе стороны мало считались с приличиями и этическими нормами. Обратимся к литературным проблемам, непосредственно связанным с романом Булгарина.

Из пушкинского круга вышла эпиграмма, высмеивавшая притязания Булгарина на место русского Вальтера Скотта:

Все говорят: он Вальтер Скотт,
Но я, поэт, не лицемерю.
Согласен я: он просто скот,
Но, что он Вальтер Скотт, — не верю
(18, 437).

Булгарину она, несомненно, была известна, и он вполне мог предполагать, что автором был Пушкин. Характерно, что впервые эпиграмма была опубликована Герценом в 1861 г. под именем Пушкина (18, 831). На подобном же каламбуре основана еще одна более слабая эпиграмма на Булгарина, явившаяся, очевидно, тоже вскоре после появления «Самозванца» и построенная на том же противопоставлении великому романисту его слабого подражателя:

Романтик, балагур, шотландец
 Ввел подражанье за собой:
 Вдруг *Выжигин* и *Самозванец*
 Явились на Руси святой.
 Писатель гордый, издавая,
 Мнил быть наш новый Вальтер Скотт.
 К чему фамилия двойная?
 Ему довольно, повторяя,
 Одной последней без хлопот (18, 435).

Вокруг имени Вальтера Скотта и называемом или подразумеваемом его сопоставлении с русским автором и шло в печати обсуждение «Димитрия Самозванца». Как уже упоминалось, в марте 1830 года в «Литературной газете» появилась отрицательная рецензия Дельвига. Булгарин считал ее принадлежащей Пушкину и был прав в том отношении, что рецензия, несомненно, отражала и точку зрения Пушкина и мнение всего пушкинского круга.

Дельвиг считает, что в романе нет духа истории. Хотя автор и знает эпоху, но герои его напоминают «кукол, одетых в мундиры и чинно расставленных между раскрашенными кулисами», а не «людей живых и мыслящих»; «выдержанных же характеров нет ни одного». Приговор, вынесенный роману, беспощаден и не очень справедлив: «...скудный, беспорядочный сбор богатых материалов, перемешанных с вымыслами ненужными, часто оскорбляющими чувство приличия» (11, 218—220).

Таким образом, с точки зрения Дельвига, автор «Димитрия Самозванца» никак не может претендовать на титул русского Вальтера Скотта. И тем интереснее один из упреков, сделанных Булгарину и который на деле как раз и показывает его близость к традициям Скотта. Дельвиг между прочим пишет, обвиняя Булгарина в отсутствии патриотизма (чего на самом деле уж никак нельзя сказать о нашем авторе!): «...мы извиним в нем повсюду выказывающееся пристрастное предпочтение народа польского перед русским. Нам ли, гордящимся веротерпимостью, открыть гонение противу не наших чувств и мыслей? Нам приятно видеть в г. Булгарине поляка, ставящего выше всего свою нацию; но чувство патриотизма заразительно, и мы бы еще с большим удовольствием прочли повесть о тех временах, сочиненную писателем русским» (11, 219).

По отношению к Булгарину это замечание Дельвига, вообще сильно попахивающее доносом, абсолютно несправедливо. Булгарин был одним из очень немногих русских писателей, в произведениях которого нет национальной спеси, ксенофобии, стремления возвеличить своих соплеменников поляков или русских за счет других национальностей. Он отмечает воинственность поляков, их любовь к битвам и отвращение к измене, обману и предательству (5, ч. III, 22). В то же время говорит и о насилиях и жестокостях, чинимых польским сбродом в Москве после воцарения Лжедмитрия. Даже русские люди, не любящие чужеземцев, замечают у Булгарина: «Немцы умеют служить верно. Честные люди, жаль, что не православные» (5, ч. IV, 481). В то же время Булгарин нигде не по-

казывает превосходства поляков над русскими, в чем обвинял его Дельвиг. Уже упоминавшийся рецензент «Московского вестника» защитил Булгарина от этих нападок: «Говорят, что он изобразил поляков с лучшей стороны, чем русских. Это несправедливо» (28, 191).

В национальной терпимости, толерантности, отсутствии национальной спеси Булгарин был ближе к Скотту, чем другие русские писатели. Нападки Дельвига заделали его за живое. Он уделил полемике с ним большую часть (14 страниц из 30) предисловия ко второму изданию романа. И не случайно, защищаясь от этих обвинений, Булгарин обращается к авторитету сначала Тацита, поставившего в образец римлянам чистоту германских нравов, а потом Скотта: «В романах Вальтера Скотта единоземцы его не всегда играют блестящие роли, французы также не разгневались на него за то, что он представил эпоху Лудовика XI в черных красках (6, ч. I, XXX—XXXI).

На Скотта Булгарин сознательно ориентировался в своем романе, именем Скотта он защищался от нападения критиков: «Нет ни одного лучшего романа Скотта, где бы не было таких мест, которые читатель, по своему вкусу, не находил скучными и длинными. <...> У меня почитают важным недостатком то, что восхваляется в Вальтере Скотте...» (6, ч. I, LIV—LV)

На самом деле только болезненно самолюбивому и нетерпимому Булгарину критика казалась жестокой и несправедливой. Большинство статей были скорее благосклонными. Только отношение пушкинского круга к Булгарину оставалось непримиримо враждебным.

С «Димитрия Самозванца» начинается беспрецедентная по резкости и взаимным оскорблениям борьба Булгарина и Пушкина. Унимать разошедшегося Булгарина пришлось самому царю, который в марте—апреле 1830 г. писал Бенкендорфу: «В сегодняшнем номере «Пчелы» находится опять несправедливейшая и пошлейшая статья, направленная против Пушкина; к этой статье наверное будет продолжение; поэтому предлагаю Вам призвать Булгарина и запретить ему отныне печатать какие бы то ни было критики на литературные произведения; и, если возможно, запретите его журнал» (17, 123).

«Журнал» (т.е. газета «Северная пчела») запрещен не был, может быть, в результате заступничества Бенкендорфа. Ожесточенная полемика продолжалась. Однако она уже не имела отношения к историческим романам Скотта. Николай же продолжал относиться к Булгарину с некоторой брезгливостью и явной неприязнью. Гораздо позднее, в 1851 году, он приказал сделать ему строгое внушение, высказал подозрение в его лояльности и обещал впредь помнить его проступки (17^а, 90—91).

- 1 О Булгарине, особенно о его отношениях с Пушкиным, имеется довольно обширная литература, в которой личность и творчество Булгарина оцениваются абсолютно отрицательно. Единственная апологетическая работа — вступительная статья Н. Н. Львовой к «Сочинениям» Булгарина (4) с претенциозным названием «Каприз Мнемозины». Эта статья, в силу непрофессиональности и предвзятости автора, научного значения не имеет. Единственная известная нам объективная и высоко профессиональная работа о Булгарине — это статья и публикация А. И. Рейтблата (17). О нравоописательных романах Булгарина см. книгу: Zofia Mejszutowicz (26)
- 2 См. список подписавшихся в конце второго тома первого издания (с. 1—41 отдельной пагинации).
- 3 Эти «Замечания» перепечатаны почти полностью в (15).
- 4 См. (7) и (8). Б. П. Городецкий (9) предположил, что автором «Замечаний» был Н. И. Греч. Точка зрения Городецкого была успешно оспорена в работе А. А. Гозенпуда (8).
- 5 «Ф. В. Булгарин. В прозе: Отрывки из жизни Марины Мнишек, жены Дмитрия Самозванца». — Подробная ведомость сочинениям и переводам в прозе и стихах господ членов Высочайше утвержденного Вольного общества любителей российской словесности и посторонних особ в течение 1823 года (3, 388, № 24).
- 6 Verses, composed for the occasion, adapted to Hydn's air. «God Save the Emperor Frances», and sung by a select band after the dinner given by the Lord Provost of Edinburgh to the Grand-Duke Nikolos of Russia, and his suite, 19th December, 1816. — The Poetical Works of Sir Walter Scott. Bart. Vol. X. <Edinburgh, 1833>. P. 365—366. Перевод: «Мы приветствуем знаменитого Незнакомца в нашем горном краю. Общие интересы, надежды и опасности связывают нас с твоей отчизной. Ни усилия знати, ни тщетные интриги не разорвут этот союз: рука об руку — пока процветает мир, бок о бок — в бою»
- 7 В представленной царю рукописи «Борис Годунов» назывался «Комедия о царе Борисе и Гришке Отрепьеве».
- 8 Современный исследователь считает Самозванца Григорием Отрепьевым (19; 20).
- 9 На эту тему существует работа с многообещающим названием: *West James. Walter Scott and the Style of Russian Historical Novels of the 1830s and 1840s./American Contribution to the Eighth International Congress of Slavists. Slavica Publishers, Inc., Columbus, Ohio, 1978* Однако ни построения автора, ни методика его исследования, ни крайне ограниченный круг использованных материалов ничего не дают для решения проблемы. Попутно заметим, что неоднократно цитируемая в этой статье большая «анонимная» рецензия на роман И. Лажечникова «Басурман» (Отечественные записки. 1839. Т. II. № 2. Отд. VI. С. 1—46) принадлежит А. Д. Галахову.
- 10 Очень интересные и не утратившие до сих пор своей ценности наблюдения над проблемой народа в «Борисе Годунове» сделал Г. А. Гуковский в книге «Пушкин и проблемы реалистического стиля». К сожалению, на этой книге, написанной в 1948 году, лежит тяжелый отпечаток сталинской эпохи (10).
- 11 См. об истории этой знаменитой ремарки статью М. П. Алексеева: «Ремарка Пушкина “народ безмолвствует”» (2).

ЛИТЕРАТУРА

- 1 *Алексеев М. П.* Русско-английские литературные связи (XVIII век — первая половина XIX века). / Лит. наследство. Т. 91. М., 1982.
- 2 *Алексеев М. П.* Пушкин. Сравнительно-исторические исследования. Л., 1984.
- 3 *Базанов В.* Вольное общество любителей российской словесности. Петрозаводск, 1949.
- 3^a *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1953. Т. 1.
- 4 *Булгарин Фаддей.* Сочинения. М., 1990.
- 5 *Булгарин Фаддей.* Димитрий Самозванец. СПб.: В типографии Александра Смирдина, 1830. Ч. 1—4.
- 6 *Булгарин Фаддей.* Димитрий Самозванец. Изд. 2-е, исправленное. СПб., 1830.
- 7 *Винокур Г. О.* Кто был цензором «Бориса Годунова». — Пушкин: Временник пушкинской комиссии. 1. М.; Л., 1936.
- 8 *Гозентуд А. А.* Из истории общественно-литературной борьбы 20-х — 30-х годов XIX в. («Борис Годунов» и «Димитрий Самозванец»). — Пушкин. Исследования и материалы. Т. VI. Л., 1969.
- 9 *Городецкий Б. П.* Кто же был цензором «Бориса Годунова» в 1826 году. — Русская литература. 1967. № 4.
- 10 *Гуковский Г. А.* Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957.
- 11 *Дельвиг А. А.* Сочинения. Л., 1986.
- 12 *Левин Ю. Д.* Прижизненная слава Вальтера Скотта в России. — Эпоха романтизма. Л., 1975.
- 13 *Лемке М.* Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. <...> СПб., 1909.
- 14 Переписка А.С.Пушкина: В 2 т. М., 1982.
- 15 *Пушкин.* Полн. собр. соч. Т. VII. <Пробный>: Драматические произведения. Изд. АН СССР, 1935.
- 16 *Пушкин.* Полн. собр. соч. Т. I—XVI. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1937—1949.
- 17 *Рейтблат А. И.* Булгарин и III отделение в 1826—1831 гг. — Новое литературное обозрение. 1993. № 2.
- 17^a *Рейтблат А. И.* <Публикация> Три письма Ф. В. Булгарина. — Новое литературное обозрение. 1994. № 6.
- 18 Русская эпиграмма второй половины XVII — начала XX в. Л., 1975 (Библиотека поэта, б.с.).
- 18^a *Скотт Вальтер.* Собр. соч.: В 20 т. М.; Л., 1960—1965.
- 19 *Скрынников Р. Г.* Борис Годунов. М., 1978.
- 20 *Скрынников Р. Г.* Самозванцы в России в начале XVII века. Новосибирск, 1987. С. 113—146.
- 21 *Смирнова-Россет А. О.* Воспоминания. Письма. М.: Правда, 1990.
- 22 *Столянский П. Н.* Пушкин и «Северная пчела». — Пушкин и его современники. Вып. XXIII—XXIV. Пгр., 1916 (Reprint: Mouton, The Hague-Paris, 1970).

23 *Ушаков Василий*. Димитрий Самозванец. Соч. Ф. Булгарина. — Московский телеграф. 1830. Ч. 3. № 6, март. С. 226—233.

24 *Шильдер Н. К.* Император Николай Первый, его жизнь и царствование. Т. 1—2. СПб., 1903.

25 *Johnson Edgar*. Sir Walter Scott. The Great Unknown. New York: The Macmillan Co, 1970.

26 *Mejsztowicz Zofia*. Powesc obyczajowa Tadeusza Bulharyna. Polska Akademia Nauk, 1978.

27 *Welsh Alexander*. The Hero of the Waverley Novels. 2-nd ed. Princeton, 1992 .

28 *W. W.* Еще несколько слов о Димитрии Самозванце. — Московский вестник. 1830. Ч. 2. № 6. С. 187.

НОВЫЕ БЕЗДЕЛКИ

Сборник статей к 60-летию

В.Э. Вацуро

Москва

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

1995 — 1996